

АПЕЛЛЕСОВА ЧЕРТА

...Передают, будто греческий художник Апеллес, не застав однажды дома своего соперника Зевксиса, провел черту на стене, по которой Зевксис догадался, какой гость был у него в его отсутствие. Зевксис в долгу не остался. Он выбрал время, когда заведомо знал, что Апеллеса дома не застанет, и оставил свой знак, ставший притчей художества.

I

В один из сентябрьских вечеров, когда Пизанская косая башня ведет целое войско косых зарев и косых теней приступом на Пизу, когда от всей вечерним ветром разжужженной Тосканы пахнет, как от потертого меж пальцев лаврового листа, в один из таких вечеров, — ба, да я ведь точно помню число то: 23 августа, вечером, — Эмилио Релинквимини, не застав Гейне в гостинице, потребовал у подобострастно расшаркивающегося лакея бумаги и огня. Когда тот, сверх просимого, явился еще с чернилами, с ручкой, палочкой сургуча и печаткою, Релинквимини брезгливым жестом отстранил его услуги. Вынув из галстука булавку, он раскалил ее на свече, кольнул себя в палец и, выхватив карточку с фирмой трактирщика из целой стопки ей подобных, загнул ее с краю уколотым пальцем. Затем он протянул ее безразлично предупредительному лакею со словами:

— Передайте господину Гейне эту визитную карточку. Завтра в эти же часы я повторю свое посещение.

Пизанская косая башня прорвалась сквозь цепь средневековых укреплений. На улице число людей, выдавших ее с моста, ежеминутно возрастало. Зарева,

как партизаны, ползли по площадям. Улицы запружались опрокинутыми тенями, иные еще рубились в тесных проходах. Пизанская башня косила наотмашь, без разбору, пока одна шальная исполинская тень не прошлась по солнцу... День оборвался.

Но лакей, кратко и сбивчиво осведомляя Гейне о недавнем посещении, все же успел за несколько мгновений до полного захода солнца вручить нетерпеливому постояльцу карточку с побуревшим, запекшимся пятном.

«Вот оригинал!» Но Гейне тотчас же догадался об истинном имени посетителя, автора знаменитой поэмы «Il sangue»¹.

Та случайность, по которой феррарец Релинквимиனி оказался в Пизе как раз в те дни, когда еще более случайная прихоть путешествующего поэта занесла сюда его самого, вестфальца Гейне, — случайность эта не показалась ему странной. Он вспомнил об анониме, от которого получил на днях небрежно написанное, вызывающее письмо. Претензии неизвестного выходили из границ дозволенного. Как-то вскользь и туманно пройдясь насчет племенных и кровных корней поэзии, неизвестный требовал от Гейне... Апеллесова удостоверения личности.

«Любовь, — писал аноним, — кровавое это облако, которым сплошь застилается порою вся наша безоблачная кровь, — скажите о ней так, чтобы очерк ваш не превышал лаконизма черты Апеллесовой. Помните только о принадлежности вашей к аристократии крови и духа (эти понятия неразрывны) — вот о чем единственно любопытствует Зевксис.

P. S. Я воспользовался вашим пребыванием в Пизе, о чем был своевременно извещен моим издателем

¹ «Кровь» (ит.).

Конти, чтобы раз навсегда покончить с терзавшим меня сомнением. Через три дня я лично явлюсь к вам взглянуть на росчерк Апеллеса...»

Прислуга, явившаяся по зову Гейне, была облечена им следующими полномочиями:

— Я уезжаю с десятичасовым поездом в Феррару. Завтра вечером меня будет спрашивать известное уже вам лицо, предъявитель этой карточки. Вы из рук в руки передадите ему этот пакет. Прошу подать мне счет. Позовите факино.

Тем призрачным весом, коим на вид пустой пакет все-таки обладал, он был обязан тоненькой бумажной полоске, очевидно вырезанной из какой-то рукописи. Клочок этот заключал в себе часть фразы, без начала и конца: «но Рондольфина и Энрико, свои бывшие имена отбросив, их сменить успели на небывалые доселе: он — „Рондольфина!“ — дико вскрикнув, „Энрико!“ — возопив — она».

II

На тротуарных плитах, на асфальтированных площадях, на балконах и на набережных Арно пизанцы сожигали благовонную тосканскую ночь. От черного ее сгорания еще тяжелее дышалось в душных и без того проходах, под пыльными платанами; ко всему еще знойный, маслянистый блеск ее довершали рассыпные снопы звезд и пучки колючих туманностей. Искры эти переполняли чашу терпения итальянцев; с жарким фанатизмом произнося свои ругательства, словно бы это молитвы были, отирали они при первом же взгляде на Кассиопею грязный пот со лбов. Носовые платки мелькали впотьмах, как сотрясаемые термометры. Показания этих батистовых градусников удручающей пагубой проносились по улице: духота рас-

пространялась ими, как кем-то подхваченный слух, как поветрие, как панический ужас. И так же, как распадался без прекословия коснеющий город на кварталы, дома и дворы, так точно состоял ночной воздух из отдельных неподвижных встреч, восклицаний, ссор, кровавых столкновений, шепотов, смешков и шушуканий. Шумы эти стояли пыльным и частым плетевом над тротуарами, стояли в шеренгах, вращаясь в панели, точно уличные деревья, задыхающиеся и бесцветные в свете газовых фонарей. Так причудливо и властно положила пизанская ночь крепкий предел человеческой выносливости.

Тут же, об этот предел рукой подать, начинался хаос. Такой хаос царил на вокзале. Носовые платки и проклятия сходили здесь со сцены. Люди, мгновение назад почитавшие чуть что не пыткой естественное передвижение, здесь, ухватясь за чемоданы и картонки, бушевали у кассы, как угорелые набрасывались штурмом на обуглившиеся вагоны, осаждали ступеньки и меченные сажей, как трубочисты, врывались в отделения, перегороженные горячею коричневой фанерой, которая, казалось, коробилась от жару, ругани и увесистых толчков. Вагоны горели, горели рельсы, горели нефтяные цистерны, паровозы на запасных путях, горели сигналы и расплющенные, парами исходящие вопли далеких и близких локомотивов. Семена своими вспышками, щекочущим насекомым засыпало на щеке машиниста и на кожаной куртке кочегара тяжкое дыханье растворенной топки: горели машинист с кочегаром. Горел часовой циферблат, горели чугунные перекаты путевых междуузлий и стрелок; горели сторожа. Все это находилось за пределами человеческой выносливости. Все это можно было снести.

Место у самого окна. В последний миг — совершенно пустой перрон из цельного камня, из цельной гулкости, из цельного восклицанья кондуктора: «Pronti!»¹ — и кондуктор пробегает мимо, вдогонку за собственным восклицанием. Плавно сторонятся станционные столбы. Огоньки снуют, скрещиваясь, как вязальные спицы. Лучи рефлекторов заскакивают в окна вагонов, подхваченные тягою, проходят насквозь, наружу, через противоположные окна, растягиваются по путям, подрагивая, оступаются о рельсы, поднимаются, пропадают за сараями. Карликовые улочки, уродливые, ублюлочные закоулки. Гулко глотают их зевы виадуктов. Бушеванье вплотную к шторке подступающих садов. Отдохновенная ширь курчавых, ковровых виноградников. Поля.

Гейне едет на авось. Думать ему не о чем. Гейне пытается вздремнуть. Он закрывает глаза.

«Что-нибудь да выйдет из этого. Наперед загадывать нет проку, да и возможности нет. Впереди — упительная полная неизвестность».

Померанцы, вероятно, в цвету. Душистые широты садов — в разливе. Оттуда набегает ветерок соснуть хоть капельку на слипшихся ресницах пассажира.

«Это — наверняка. Что-нибудь да выйдет. А то с какой это радости — аа-ах, — зевает Гейне, — с какой это радости что ни любовное стихотворенье у Релинквиними, то неизменная пометка „Феррара“!»

Скалы, пропасти, сном пришибленные соседи, смрад вагонный, газовый язычок фонаря. Он слизывает с потолка шорохи и тени, он облизывается, и он задыхается, когда скалы и пропасти сменяются тоннелем: гора, грохоча, сползает по вагонной крыше, распластывает паровозный дым, загоняет его в окна, цепляется за вешалки и сетки. Тоннели и долины. Путь

¹ Готово! (*ит.*)

в одну колею плачет заунывно над горной, о камни разбившейся речонкой, с каких-то невероятных, чуть брезжущих во тьме высот сорвалась она. Там-то и чадят и дымятся водопады, глухой их рев всю ночь кружит вокруг поезда.

«Апеллесова черта... Рондольфина... За сутки, пожалуй, ничего не успеть. А больше нельзя. Надо скрыться бесследно. А завтра... Ведь он с места же сорвется на вокзал, как только лакей ему скажет о моем маршруте!»

Феррара! Иссиня-черный, стальной рассвет. Холодом напоен душистый туман. О, как звонко латинское утро!

III

— Невозможно, номер «Vосе» уже сверстан.

— Да, но я никак, ни за какие деньги и ни в чьи руки не передам своей находки, между тем более одного дня я не могу остаться в Ферраре.

— Вы говорите, в вагоне, под диваном, записная его книжка?

— Да, записная книжка Эмилио Релинквимини. Мало того, записная книжка, содержащая среди массы обиходных записей еще большее множество неопубликованных стихотворений, ряд набросков, отрывочных заметок, афоризмов. Записи велись весь этот год, большей частью в Ферраре, насколько можно судить по подписям.

— Где она? Она с вами?

— Нет, я оставил вещи на вокзале, а книжка в саквояже.

— Жалко! Мы могли бы доставить книжку ему на дом. Феррарский адрес Релинквимини известен редакции, но вот уже с месяц, как он в отъезде.

— Как, разве Релинквимини не в Ферраре?
— В том-то и дело. Я, собственно, в толк не возьму, на какой исход можете вы надеяться, объявляя о своей находке?

— Единственно на то, что через посредство вашей газеты установится надежная связь между собственником книжки и мною и Релинквимини в любое время сможет воспользоваться любезными услугами «Voce» в этом деле.

— Что с вами поделаешь! Присядьте, пожалуйста, и благоволите составить заявление.

— Виноват, господин редактор, я вас побеспокою, у вас настольный телефон — разрешите?

— Пожалуйста, сделайте одолжение.

— ...Гостиница «Торквато Тассо»?.. Какие номера свободны?.. В котором этаже?.. Прекрасно, оставьте восьмой за мною.

«Ritrovamento»¹. — Найдена рукопись новой, готовящейся к выходу книги Эмилио Релинквимини. Владелец рукописи или его доверенных в течение всего дня до 11 часов ночи будет ждать у себя, в гостинице „Тассо“, лицо, занимающее № 8 названной гостиницы. Начиная с завтрашнего дня редакция газеты „Voce“, равно как дирекция гостиницы, будут периодически и своевременно извещаться вышеозначенным лицом о каждой новой перемене его адреса».

Гейне, утомленный дорогой, спит мертвым, свинцовым сном. Жалюзи в его номере, нагретые дыханием утра, горят, точно медные перепонки губной гармоники. У окошка сетка лучей упала на пол расползающейся соломенной плетенкой. Соломинки сплачиваются, теснятся, жмутся друг к другу. На улице — невнятный говор. Кто-то заговаривается, у кого-то заплетается язык. Проходит час. Соломины уже плотно прилега-

¹ Находки (*ит.*).

ют друг к другу, уже солнечною лужицей растекается по полу плетенка. На улице заговариваются, клюют носом, на улице заплетаются языки. Гейне спит. Солнечная лужа разжимается, словно пропитывается ею паркет. Снова это — редуемая плетенка из подпаленных, пляющихся соломин. Гейне спит. На улице говор. Проходят часы. Они лениво вырастают вместе с ростом черных прорезей в плетенке. На улице говор. Плетенка выцветает, пылится, тускнеет. Уже это — веревочный половик, свалывшийся, спутанный. Уже стежков и нитей не отличить от петель. На улице — говор. Гейне спит.

Сейчас он проснется. Сейчас Гейне вскочит, помяните мое слово. Сейчас. Дайте ему только до конца доглядеть последний обрывок сновиденья...

От жара разошедшееся колесо раскалывается вдруг по самую ступицу, спицы выпирают пучком перекушенных колышков, тележка со стуком, с грохотом падает набок, кипы газет вываливаются. Толпа, парасоли, витрины, маркизы. Газетчика на носилках несут — аптека совсем поблизости.

— Вот видите! Что я говорил! — Гейне вскакивает. — Сейчас!

Кто-то нетерпеливо, с остервенением стучится в дверь. Гейне спросонья, взлохмаченный, во хмелю еще, хватается за халат.

— Виноват, сию секунду! — Чуть что не металлически брякнув, тяжело опускается на пол правая нога. — Сейчас. Ах да!

Гейне подходит к двери.

— Кто тут?

Голос лакея.

— Да, да, тетрадь у меня. Попросите у синьоры от моего имени извиненья. Она в салоне?

Голос лакея.

— Предложите синьорине подождать минут десять. Через десять минут я весь к ее услугам. Слышите?

Голос лакея.

— Пойдите, камерьере!

Голос лакея.

— Да не забудьте передать мадемуазель, что синьор-де выражает неподдельное свое сожаление по поводу того, что не может сию же минуту выйти к ней, чувствует себя перед ней глубоко виноватым, но постарается... Слышите ли вы, камерьере?..

Голос лакея.

— ...но постарается через десять минут полностью загладить свою непростительную оплошность. Да поучтивей, камерьере, я ведь не из феррарцев.

Голос лакея:

— Ладно, ладно.

— Камерьере, дама в салоне?

— Да, синьор.

— Она одна там?

— Одна, синьор, пожалуйста. Налево, синьор. Налево!

— Здравствуйте. Чем могу служить синьоре?

— Pardon, вы из номера восьмого?

— Да, я занимаю этот номер.

— Я — за тетрадью Релинквимини.

— Позвольте представиться: Генрих Гейне.

— Простите... Вы в родстве?..

— Нисколько. Случайное совпадение. Прискорбное даже. Я тоже имею счастье...

— Вы пишете стихи?

— Я не писал никогда ничего другого.

— Я знаю по-немецки и отдаю поэзии весь мой досуг, а между тем...

— Знакомы вам «Стихи, не изданные при жизни поэта»?

— Конечно. Так это вы?!
— Простите, я мечтаю все же услышать ваше имя.
— Камилла Арденце.
— Чрезвычайно приятно. Итак, синьора Арденце, вам попало на глаза мое сегодняшнее заявление в «Воце»?

— Да, да. О найденной тетради. Где она? Дайте ее сюда.

— Синьора! Синьора Камилла, вы, может быть, всем сердцем своим, воспетым несравненным Релинквимини...

— Оставьте, мы не на подмостках...

— Вы ошибаетесь, синьора, мы — всю жизнь на подмостках, и далеко не всякому по силе та естественность, которая, как роль, навязана каждому от самого рождения. Синьора Камилла, вы любите родной свой город, вы любите Феррару, между тем это — первый город, определенно отталкивающий меня. Вы прекрасны, синьора Камилла, и у меня сердце содрогается при мысли, что вы в заговоре с отвратительным этим городом против меня.

— Я не понимаю вас.

— Не прерывайте меня, синьора. С городом, говорю я, который усыпил меня, как отравитель усыпляет собутыльника, когда к тому приближается его счастье; он усыпляет его затем, чтобы пробудить искру презрения к несчастному в глазах его счастья, зашедшего в таверну, и счастье изменяет усыпленному. «Миледи, — обращается к вошедшей отравитель, — взгляните на этого лежебока: это ваш возлюбленный; он коротал часы ожидания рассказами о вас; они шпорами вонзались в мое воображение. Не на его ли хребте прискакали вы сюда? Зачем так немилосердно хлестали вы его своей тонкой плетью, — оно в мыле, оно разгорячено. О, эти рассказы! Но потрудитесь взглянуть

на него. Миледи, он усыплен собственными рассказами о вас, — вы видите, разлука оказывает действие колыбельной песни на вашего возлюбленного. Однако мы можем разбудить его». — «Не надо, — отвечает отравителю счастье отравленного. — Не надо, не тревожьте его, он спит так сладко и, может быть, видит меня во сне. Лучше позаботьтесь о стакане пунша для меня. На улице так холодно. Я вся ооченела. Разотрите мне, пожалуйста, руки...»

— Вы очень странный человек, господин Гейне. Но продолжайте, пожалуйста, ваша высокопарная речь занимает меня.

— Виноват, как бы не забыть о тетради Релинкви-мини; я подымусь к себе в номер...

— Не беспокойтесь, я не забуду про нее. Продолжайте, пожалуйста. Вот забавный! Продолжайте же. «Разотрите мне руки», — говорит, кажется, счастье?

— Да, синьора Камилла. Вы слушали меня внимательно, благодарю вас.

— Ну?

— Так-то, как отравитель со своим собутыльником, обошелся со мной город, и вы, прекрасная Камилла, на его стороне. Он подслушал мои мысли о старых, как разбойничьи замки, и, как разбойничьи замки, одиноко стоящих, разваливающихся рассветах и усыпил меня, чтобы исподтишка воспользоваться ими; он дал мне всласть наговориться о садах, на всех парусах из красного вечернего воздуха несущихся в открытую ночь, и вот — он поднял эти паруса, а меня оставил лежать в портовой таверне, и вы ведь не позволите ему будить меня, если хитрец это вам предложит.

— Послушайте, дорогой, при чем же я тут? Лакей, надеюсь, окончательно вас разбудил?

— «Нет, — скажете вы, — ночь прибывает, не быть буре б, надо торопиться, пора, не буди его».

— О синьор Гейне, как глубоко вы заблуждаетесь. «Да, — скажу я, — да, да, Феррара, растормоши его, если он еще спит, мне недосуг, разбуди его живей, собери все свои толпы, грохочи всеми площадями, пока не добудишься его: время не терпит».

— Да, правда, тетрадь!..

— После, после.

— О, дорогая синьора, Феррара обманулась в своих расчетах, Феррара одурачена; отравитель бежит, я пробуждаюсь, я пробужден, — я на коленях перед вами, любовь моя!

Камилла вскакивает:

— Довольно!.. Довольно!.. Правда, все это вам к лицу. Даже эти банальности. Именно эти банальности! Но нельзя же так, право! Вы ведь странствующий комедиант какой-то! Мы почти незнакомы. Только полчаса назад... Да Господи, мне смешно даже рассуждать об этом — и все же я ведь вот рассуждаю. Никогда еще в жизни глупее себя не чувствовала. Вся эта сцена как японский цветок, моментально распускающийся в воде. Ни больше ни меньше! Но ведь цветы-то эти бумажные. И дешевые цветы!

— Я слушаю вас, синьора.

— Синьор, я охотнее слушала бы вас. Вы очень умны и даже саркастичны, кажется. Между тем вы не гнушаетесь банальностями. Это странно, но в этом нет противоречия. Ваш театральный пафос...

— Простите, синьора. Пафос — это по-гречески страсть и воздушный поцелуй по-итальянски. Бывают вынужденно воздушные...

— Опять! Увольте, это несносно! Что-то кроется в вас, объяснитесь. И послушайте, пожалуйста, не сердитесь на меня, милый господин Гейне. За всем тем вы все-таки — вы не осудите меня за фамильярность? — вы — необыкновенный какой-то ребенок. Нет, это не

то слово, вы — поэт. Да, да, как это сразу я не нашла его, а ведь для этого достаточно взглянуть на вас. Какой-то Богом взысканный, судьбою избалованный бездельник.

— Evviva!¹ — Гейне вскакивает на подоконник, перегибается всем телом наружу.

— Осторожнее, синьор Гейне, — кричит Камилла, — осторожнее, я боюсь!

— Не беспокойтесь, дорогая синьора. Эй, фурфанте! Лови! — Лиры летят на площадь. — Столько же и, может, вдесятеро больше получишь, обворовав с десятков феррарских садов. Сольдо за каждую дыру в штанине! Марш. Да смотри не дыхни на цветы, как будешь несть: у контессы чутье мимозы. Рысью, шалопай! Волшебница, вы слышали? Мальчишка вернется в костюме амура. Но к делу. Что за проницательность! Одною чертой, чертой Апеллеса, передать все мое существо, всю суть положения!

— Я вас не понимаю. Или это — новый выход? Опять подмости? Чего вы, собственно, хотите?

— Да, это снова подмости. Но отчего бы и не позволить мне побыть немного в полосе полного освещения? Ведь не я виной тому, что в жизни сильнее всего освещаются опасные места: мосты и переходы. Какая резкость! Все остальное погружено во мрак. На таком мосту, пускай это будут и подмости, человек вспыхивает, озаренный тревожными огнями, как будто его выставили всем напоказ, обнесши его перилами, панорамой города, пропастями и сигнальными рефлекторами набережных... Синьора Камилла, вы не вняли бы и половине моих слов, если бы мы не столкнулись с вами на таком опасном месте. Оно опасно, надо полагать, хотя сам я этого не знаю; надо полагать, пото-

¹ Ура! (*um.*)

му, что на его освещение людьми была потрачена бездна огня, и я не виноват в том, что мы освещены так грубо и аляповато.

— Хорошо. Вы кончили? Все это так. Но ведь это неслыханная бессмыслица! Мне хочется довериться вам. Это не прихоть. Это почти потребность у меня. Вы не лжете. Глаза ваши не лгут. Да, так что это я хотела вам сказать?.. Забыла... Пойдите... Вот. Послушайте, милый, но ведь час еще назад...

— Перестаньте! Это — слова. Существуют часы, существуют и вечности. Их множество, и ни у одной нет начала. При первом же удобном случае они вырываются наружу. А это — сама случайность. И потом — долой слова! Знаете ли вы, синьора, когда и кем они свергаются? Долой слова! Знакомы ли вам такие восстания, синьора? Синьора, все мои фибры восстают на меня, и я должен буду уступить им, как уступают толпе. И вот последнее. Помните, как вы сейчас называли меня?

— Конечно; и готова повторить это другой раз.

— Не надо. Но вы умеете глядеть так животворно. И уже овладели линией, единственной, как сама жизнь. Так не упускайте же, не обрывайте ее на мне, оттяните ее, насколько она сама это позволит. Ведите дальше эту черту... Что же получилось у вас, синьора? Как вышли вы? В профиль? Вполоборота? Или еще как?

— Я вас понимаю. — Камилла протягивает Гейне руку. — И все же. Нет, Господи, я ведь не девочка. Надо опомниться. Это как гипноз.

— Синьора, — театрально восклицает Гейне у ног Камиллы, — синьора, — глухо восклицает он, спрятав лицо в ладони, — провели ли вы уже ту черту?.. Что за мука! — полушепотом вздыхает он, отрывает руки от

внезапно побледневшего лица... и, взглянув в глаза все более и более теряющейся госпожи Арденце, к несказанному изумлению своему, замечает, что...

IV

...что женщина эта действительно прекрасна, что до неузнаваемости прекрасна она, что биение собственного его сердца, курлыча, как вода за кормой, подымается, идет на прибыль, заливают вплотную прильзвившиеся колени и ленивыми, наслаивающимися волнами прокатывается по ее стану, колышет ее шелка, затягивает ровною гладью ее плечи, подымает подбородок и — о чудо! — слегка приподымает его, приподымает выше, — синьора по горло в его сердце, еще одна такая волна, и она захлебнется! И Гейне подхватывает тонущую; поцелуй — и какой! — поцелуй на себе выносит их, но стоном стонет он под напором разыгравшихся сердец, дергает и срывается ввысь, вперед, черт его разберет — куда; а она не сопротивляется, нет. Нет, хочешь, — поет поцелуем влекомое, поцелуем взнуданное, вытянувшееся ее тело, — хочешь — буду шлюпкой таких поцелуев, только неси, неси ее, неси меня...

— Сту-чат! — хрипом вырывается из груди Камиллы. — Стучат! — И она вырывается из его объятий.

И правда.

— Тысяча чертей! Кто там?

— Синьор напрасно замкнул салон, у нас это не принято.

— Молчать! Я властен делать что угодно.

— Вы больны, сударь.

Итальянская ругань, страстная, фанатическая, как молитвословие. Гейне отпирает. В коридоре доруги-

вающийся лакей, за ним, немного отступя, подросток-оборвыш, с головой ушедший в целый лес лиан, олеандров, флердоранжа, лилий...

— Этот негодяй...

...роз, магнолий, гвоздики...

— Этот негодяй во что бы то ни стало требовал пропустить его в комнату, окнами обращенную на площадь: таковою может быть только салон.

— Да, да, салон, — гортанно рычит мальчишка.

— Разумеется, в салон, — соглашается Гейне, — это я сам ему приказал.

— ...Потому что, — нетерпеливо продолжает лакей, — ни до конторы, ни до ванн, ни тем более до читальной комнаты никакого дела у него быть не может. Однако при совершенной непристойности его костюма...

— Ах да, — словно только сейчас проснувшись, восклицает Гейне, — Рондольфина, взгляните на его панталоны! Кто сшил тебе эти брючки из рыбачьей сети, прозрачное созданье?

— Синьор, шипы колючих изгородей в Ферраре ежегодно оттачиваются наново специальными садовыми...

— Ха-ха-ха!

— ...При совершенном неприличии его костюма, — нетерпеливо продолжает лакей, по-особенному напирая на это выражение ввиду подошедшей синьоры, на лице коей борется тень внезапного недоумения с лучами вовсе непреоборимой веселости, — при совершенном неприличии его костюма мы предложили мальчишке, передав через нас требуемое синьором, дожждаться ответа на улице. Но мошенник этот...

— Да, да, он прав, — останавливает риторика Гейне, — это я велел ему самолично явиться перед лицом синьоры...

— ...Мошенник этот, — уже не владея собой, тараторит запальчивый калабриец, — пустил в ход угрозы.

— А именно? — любопытствует Гейне. — Как это колоритно, синьора, не правда ли?

— Сорванец сослался на вас. «Синьор, — пригрозил он, — синьор негоциант в следующие свои проезды через Феррару станет пользоваться услугами других albergo¹, если вы, наперекор его воле, не допустите меня до него».

— Ха-ха-ха! Вот забавник! Каково, синьора! Вы отнесете эту тропическую плантацию... Погодите! — Гейне, обернувшись, ждет от Камиллы указаний. — ...В восьмой пока что, — не дождавшись от нее ответа, продолжает Гейне.

— К вам покамест, — слегка краснея, повторяет Камилла.

— Слушаю-с, синьор. А относительно мальчишки...

— А ты, обезьяна, во что ценишь ты свои панталоны?

— Джулио весь в рубцах, Джулио посинел от холода. У Джулио нет другого платья, ни папы, ни мамы нет у Джулио, — плаксиво хнычет, обливаясь потом, десятилетний жулик.

— Итак, сколько же, отвечай!

— Сто сольди, синьор, — неуверенно-мечтательно, как галлюцинант, произносит подросток.

— Ха-ха-ха! — хохочут все: хохочет Гейне, хохочет Камилла, хохотом раздражается и лакей, лакей в особенности, когда, вынув бумажник, Гейне достает оттуда кредитку в десять лир и, не переставая смеяться, протягивает ее оборвышу.

Тот молниеносно стреляет цепкою лапою по протянутой бумажке.

¹ Гостиниц (*ит.*).

— Постой, — говорит Гейне. — Это, надо думать, первое твое выступление на поприще коммерции. В добрый час... Послушайте, камерьере, уверяю вас, смех ваш в этом случае положительно неблагоприятен: он за живое задевает юного негоцианта. И не правда ли, мой милый, ты никогда уже больше при ближайших своих операциях в Ферраре не станешь показываться на пороге негостеприимного «Торквато»?

— О нет, синьор, напротив... А сколько дней еще остается синьор в Ферраре?

— Через два часа я совсем уезжаю отсюда.

— Синьор Энрико...

— Да, синьора.

— Выйдемте на улицу, не возвращаться же нам, право, в этот глупый салон.

— Хорошо... Камерьере, эти цветы — в восьмой. Погодите, этой розе надо еще распуститься; на этот вечер сады Феррары поручают ее вам, синьора.

— Мерси, Энрико... Черная эта гвоздика лишена всякой сдержанности, сады Феррары, синьор, вверяют вам уход за этим разнузданным цветком.

— Вашу ручку, синьора... Итак, камерьере, это — в восьмой. И шляпу мне: она в номере.

Лакей удаляется.

— Вы не сделаете этого, Энрико.

— Камилла, я не понимаю вас.

— Вы останетесь, — о, не отвечайте мне ничего, — вы останетесь еще на день хотя бы в Ферраре... Энрико, Энрико, вы выпачкали себе бровь в цветочной пыли, дайте я обмахну.

— Синьора Камилла, на вашем башмачке пушистая гусеница, я собью ее, — я отправлю телеграмму домой во Франкфурт, — и платье у вас все в лепестках, синьора, — и буду посылать депеши ежедневно, пока вы не запретите мне.

— Энрико, я не вижу на вашем пальце обручального кольца; надевали вы когда-нибудь такое украшение?

— Зато я давно заметил на вашем, Камилла... А, шляпа! Благодарю вас.

V

Благоуханный вечер преисполнил собою все закоулки Феррары и гулкою каплей перекатывался по ее уличному лабиринту, словно капля морской воды, что забилась в ухо и весь череп глухотой налила.

В кофейне шумно. Но тихая, утлая улочка ведет к кофейне. В ней-то и заключается главная причина того, что затаив дыхание окружил ее со всех сторон оглушенный, ошеломленный город: вечер забился в одну из его улочек, и в ту как раз, где на углу кофейня.

Камилла призадумалась, дожидаясь Гейне. Он пошел в телеграфное бюро рядом с кофейней.

«Почему это ни за что не хотел он написать телеграмму в кафе и с посыльным ее отправить? Неужели он никак не мог удовольствоваться простою, официальной депешей? Какая-то крепкая, сплошь на чувстве стоящая связь? Но с другой стороны, он и совсем бы позабыл о ней, если бы не напомнить ему про телеграмму. И эта Рондольфина... надо будет спросить о ней. А можно ли? Это интимности ведь. Господи, я точно девочка! Можно, нужно! Сегодня я получаю право на все, сегодня я на все теряю право. Они тебя исковеркали, милая, эти артисты. Но этот... А Релинквиними?.. Какой далекий образ! С весны? О нет, раньше еще; а встреча Нового года?! Да нет, он никогда не был близок мне... А этот?..»

— О чем вы задумались, Камилла?

— А вы отчего так грустны, Энрико? Не печальтесь: я отпускаю вас. Есть телеграммы, которые пишутся лакеем под диктовку. Отправьте такую депешу домой, вы просрочили только три часа, ночью из Феррары отходит поезд на Венецию, ночью же и на Милан, ваше опоздание не превысит...

— К чему это, Камилла?

— Отчего вы так грустны, Энрико? Расскажите мне что-нибудь о Рондольфине.

Гейне содрогается и вскакивает со стула.

— Откуда вы знаете? Он тут? Он был здесь в мое отсутствие?! Где он, где он, Камилла?

— Вы побледнели, Энрико. О ком говорите вы? Я вас спрашивала о женщине. Не так ли?! Или я не так произношу это имя? Рондольфино? Все дело в гласной. Садитесь. На нас смотрят.

— Кто вам рассказал о ней? Вы получили от него известие? Но каким образом и как дошло оно сюда? Ведь мы случайно здесь; я хочу сказать — никто ведь не знает, что мы здесь.

— Энрико, никого здесь не было и ничего не произошло, пока вы были на телеграфе. Даю вам честное слово. Но это с минуты на минуту становится любопытней. Их двое, значит?

— Тогда это чудо! Уму непостижимо... я рассудка лишаюсь. Кто подсказал вам это имя, Камилла? Где вы слышали его?

— Нынешнюю ночь, во сне. Господи, это ведь так обычно! Но вы все еще не ответили мне, кто такая эта Рондольфина? Чудеса не перевелись на свете — оставим чудеса в покое. Кто она такая, Энрико?

— О, Камилла, Рондольфина — это вы!

— Актер изолгавшийся!.. Нет!.. нет! Пустите!.. не прикасайтесь ко мне!

СОДЕРЖАНИЕ

АПЕЛЛЕСОВА ЧЕРТА	5
ПИСЬМА ИЗ ТУЛЫ	31
ДЕТСТВО ЛЮВЕРС	41
ВОЗДУШНЫЕ ПУТИ	108
ПОВЕСТЬ	123
ОХРАННАЯ ГРАМОТА	187
ЗАПИСКИ ПАТРИКА	305
Примечания	377